

- smartfiction - <http://smartfiction.ru> -

На заре туманной юности... Владимир Сергеевич Соловьёв

Posted By *Hunter* On 29.03.2010 @ 06:00 In Рассказы | [3 Comments](#)

Всю эту ночь я провел без сна. Но больная фантазия не вызывала передо мною, как это обыкновенно бывает, бессвязные тени былых и небывалых сцен и событий в пестрых и неожиданных сочетаниях. Этот раз в моем бессонном бреде были связь и единство. Все с большею и большею ясностью вставал передо мною непрерывный ряд подробностей одного давнего и, казалось, совершенно забытого происшествия. Хотя этот случай имел совершенно ничтожное начало, но конец его оставил глубокий след в моей внутренней жизни. Я рад, что болезненное воспоминание возвратило мне теперь все эти подробности, и спешу записать их, пока оно передо мною.

I

Мне было тогда 19 лет, это было в конце мая, я только что перешёл на последний курс университета и ехал из Москвы в Харьков, где должен был иметь чрезвычайно важное объяснение с одною своею кузиной, к которой я уже давно, месяца три или четыре, питал нежную и весьма возвышенную любовь. Ради неё я решил сделать большой крюк, так как настоящая цель моего путешествия находилась в киргизских степях, где я намеревался восстанавливать кумысным лечением свой организм, сильно расстроенный от неумеренного употребления немецких книг.

Я сел в вагон 2-го класса. В другом углу того же сквозного вагона поместилась молодая белокурая дама в светло-сером дорожном платье. Она ласково и весело разговаривала с тремя провожавшими ее мужчинами, и когда поезд тронулся, долго кивала им из окошка и махала платком.

Между смежными отделениями вагона была только низенькая перегородка, через которую я мог свободно разглядывать свою vis-a-vis, чем я и занялся, так как ничего более интересного в вагоне не находилось. Она была небольшого роста, худенькая и очень стройная. Лицо у нее было далеко не красиво, с неправильным носом и широким ртом. Но когда она ласково взглядывала своими светлыми глазами, это некрасивое и простое лицо становилось чрезвычайно привлекательным. Не то, чтобы ее взгляд был особенно выразителен, но в нем было что-то более глубокое, чем мысль, какой-то тихий свет без огня и блеска. Эти глаза привлекли и заинтересовали меня с первого взгляда. Заметил я также ее густые пепельные волосы. Мне показалось, что и она часто на меня взглядывала с благосклонною и ободряющею улыбкой, при чем я, разумеется, принимал мечтательный и разочарованный вид. Но заговорить я с нею не решался, отчасти потому, что и неудобно было через перегородку, а еще более потому, что при всем своём гордом виде был до крайности робок, и взгляд любой

женщины мог произвести во мне замирание сердца и онемение языка.

К моей спутнице несколько раз приходила из другого вагона пожилая дама, как оказалось потом, родственница ее мужа, ехавшая со своим семейством в первом классе. Они разговаривали, частью по-французски, о житейских делах. Из этого разговора я мог узнать только, что они москвички и едут в Крым.

II

Эта дама в сером платье решительно мне нравилась. У нее был такой тонкий, изящный поворот головы, когда она разговаривала, все ее движения были так грациозны и женственны.

— А, все-таки, моя Ольга гораздо лучше, — сказал я себе мысленно и, закрыв глаза, стал думать об Ольге, о предстоящем неожиданном для неё свидании в Харькове, представлял себе, как она вскрикнет, увидя меня, как побледнеет и даже, может быть, упадёт в обморок от нечаянной радости, как я ее приведу в чувство и что я ей буду говорить.

Но да не подумает кто-либо, что я ожидал обыкновенного любовного свидания с одними ласками и нежностями. О, нет, я был далёк от такого легкомыслия. Конечно, я допускал и элемент нежности, но он должен был составлять только тень картины, главное же дело было совсем в другом. Я хотел видеться с Ольгой для того, чтобы «поставить наши отношения на почву самоотрицания воли». Поистине таково было моё намерение. Я должен был сказать ей приблизительно следующее:

— «Милая Ольга, я люблю тебя и рад, что ты любишь меня также. Но я знаю, и ты должна это узнать, что вся жизнь, а, следовательно, и цвет жизни — любовь, есть только призрак и обман. Мы безумно стремимся к счастью, но в действительности находим одно только страдание. Наша воля вечно нас обманывает, заставляя слепо гоняться, как за высшим благом и блаженством, за такими предметами, которые сами по себе ничего не стоят; она-то и есть первое и величайшее зло, от которого нам нужно освободиться. Для этого мы должны отвергнуть все ее внушения, подавить все наши личные стремления, отречься от всех наших желаний и надежд. Если ты, как я уверен, способна понять меня, то мы можем вместе совершить жизненный путь. Но знай, что ты никогда не найдешь со мною так называемого семейного счастья, выдуманного тупоумными филистерами. Я познал истину, и моя цель-осуществить ее для других: обличить и разрушить всемирный обман. Ты понимаешь, что такая задача не имеет ничего общего с удовольствием. Я могу обещать тебе только тяжёлую борьбу и страдание вдвоём.»

Вот что я намеревался сказать хорошенькой семнадцатилетней Ольге. Вообще учёте о совершенной негодности всего существующего составляло главную тему моих разговоров с кузинами, которых у меня было несколько и в которых я поочередно влюблялся. Зло и ничтожество жизни были, конечно, известны мне отчасти

и из собственного опыта. Я по опыту знал, что поцелуи кузин недолговечны и что лишний стакан вина причиняют головную боль. Но если жизненный мой опыт и не был ещё достаточно богат, зато я очень много читал и еще больше думал, и вот годам к восемнадцати я додумался до твердого убеждения, что вся временная жизнь, как состоящая единственно только из зол и страданий, должна быть поскорее разрушена совершенно и окончательно. Едва успел я дойти до этого собственным умом, как мне пришлось убедиться, что не я один был такого мнения, но что оно весьма обстоятельно развивалось некоторыми знаменитыми немецкими философами. Впрочем, я был тогда отчасти славянофилом и потому хотя допускал, что немцы могут упразднить вселенную в теории, но практическое исполнение этой задачи возлагал исключительно на русский народ, при чем в душе я не сомневался, что первый сигнал к разрушению мира будет дан мною самим.

III

Справедливость требует заметить, что самоотрицание воли и необходимость уничтожить вселенную не составляли ещё самой мудрёной части того учения, которое я преподавал своим счастливым кузинам. За год перед моею поездкой в Харьков, одна из них — голубоглазая, но пылкая Лиза, тогдашний предмет моей страсти — удостоилась в один прекрасный летний вечер быть посвящённой в тайны трансцендентального идеализма.

Гуляя с нею по аллеям запущенного деревенского парка, я не без увлечения, хотя сбиваясь несколько в выражениях, объяснил ей, что пространство, время и причинность суть лишь субъективные формы нашего познания и что весь мир, в этих формах существующий, есть только наше представление, то есть что его, в сущности, нет совсем. Когда я дошел до этого заключения, моя собеседница, все время очень серьёзно смотревшая своими большими зеленоватыми глазами, улыбнулась и с явным лукавством заметила:

— А как же вчера ты все говорил о страшном суде?

— О каком страшном суде?

— Ну, все равно, о том, что нужно все уничтожить. Если по-твоему мира нет совсем, то почему же тебе так хочется его разрушить?

Это противоречие смутило меня только на мгновение.

— А разве когда тебя давит страшный сон или кошмар, тебе не хочется от него избавиться? — отвечал я победоносно.

Она вдруг без всякой видимой причины звонко рассмеялась.

— Что такое? — спросил я с неудовольствием.

— Ах, представь себе, — заговорила она, смеясь и крепко сжимая мою руку, —

представь себе, я видела сегодня во сне, будто мой Джемс, — так звали ее сеттера, — совсем не собака, а командир белорусского гусарского полка, и все наши офицеры должны отдавать ему честь, но только вместо ваше высокоблагородие обязаны говорить ваше высокоблехородие.

Это неожиданное сообщение она завершила сколь же неожиданным поцелуем и вдруг убежала, крича мне издали:

— Пойдем на грядки клубнику собирать, я видела, уж много поспело.

И я пошел собирать клубнику, хотя категорический императив, который простолюдины называют совестью, довольно ясно намекал мне, что это было с моей стороны не самоотрицанием, а совершенно наоборот — самоутверждением воли.

Но веселая Лиза так мило наклоняла над грядками свою белокурую головку, так кокетливо приподнимала платье, сверкая на солнце серебряными пряжками своих башмаков, что я решительно не имел никакого желания избавиться от этого приятного кошмара, и еще долго прождала меня в моей комнате недочитанная глава о синтетическом единстве трансцендентальной апперцепции.

И когда теперь, сидя в вагоне, я вспомнил почему-то этот маленький эпизод, смутное предчувствие будущих грехопадений шевельнулось в моей душе.

IV

Между тем, вечерело. Мы подъехали к какой-то маленькой станции. Со двора ее раздавалось весёлое и нетерпеливое звяканье колокольчика. Тарантас, запряжённый тройкой, очевидно, приехал за тем седым господином с двумя барышнями, что сошли на платформу со своими вещами и оживленно разговаривают с начальником станции.

Я высунулся в окошко. Из густого садика, примыкавшего к станционному дому, сильно пахло сиренью. Крестьянские девочки предлагали букеты ландышей. Что-то звенело вдали. В маленьком флигеле играли на фортепиано, а на площадке в углу садика компания туземцев обоего пола сидела за самоваром и весело разговаривала.

Моя дама в сером платье прошла по платформе и ласково мне улыбнулась. Я смотрел на нее с таким же спокойным удовольствием, как и на все остальное. У меня на душе было тихо и хорошо в этот вечер. Зло и страдание бытия так глубоко ушли в самую сущность вещей, что я их совсем не чувствовал, — впрочем, может быть, от того, что я совсем ничего не хотел в эту минуту и во всем окружающем видел только пейзаж.

И когда поезд тронулся, я с тем же тихим наслаждением, ни о чем не думая и ничего не желая, вглядывался в густую берёзовую рощу, которая приветливым шёпотом встретила наш поезд и обняла его с обеих сторон, и звала к себе отдохнуть, и кротко улыбалась своими золотыми от вечерних лучей верхушками.

Однако, это душевное спокойствие скоро было нарушено самым неожиданным образом.

Когда мы приехали в Тулу и в нашем вагоне не осталось других пассажиров, кроме меня и молодой дамы, вдруг с криком и шумом вошла к нам толпа новых путешественников. Это была труппа странствующих французских актёров, ехавших в Орел. Впрочем, весьма возможно, что это были не актеры, а только акробаты. Их было человек семь или восемь, мужчин и женщин. Мужчины были значительно пьяны и вели себя довольно неприлично. Сначала они хотели играть в карты, но карт не нашлось. Тогда, снявши верхнее платье, они предались гимнастическим упражнениям, вешались на перекладинах, раскачивались, кувыркались, а двое покушались даже, хотя и безуспешно, играть в чехарду.

Дамы их также отличались большою развязностью. Они с громким смехом и вскрикиваниями перебранивались со своими кавалерами, а одна, сидевшая ближе ко мне, довольно красивая женщина, к немалому моему смущению, сняла с ноги башмак и запустила им в одного из гимнастов, который в возмездие схватил ее за ногу и намеревался стащить на пол, но, вместо того, сам с размаху упал навзничь, возбудив своим падением неописанный восторг во всей компании.

V

Дама в сером платье, сначала с некоторым любопытством смотревшая на это представление, была, по-видимому, скандализována последним эпизодом. Она встала и подошла ко мне (я сидел с краю диванчика около прохода).

— Можно мне спрятаться за вас от этих господ? Они такие ужасные.

Я поклонился.

Она села рядом со мною, около окошка.

Я радовался в душе, что моя милая спутница так легко и просто сделала первый шаг, и вся моя робость пропала совершенно. Через несколько минут мы разговаривали, как старые знакомые.

Оказалось, что мужа ее я знал по имени. У них были маленькие дети.

— Ах! как это трудно воспитывать детей, когда сама не имеешь совсем никакого воспитания. Я долго об этом думала и решила оставить их на произвол судьбы, пусть себе растут и воспитываются, как знают, а я, по крайней мере, ничего не испорчу.

С важным менторским видом, подобающим 9-ти-летнему философу, я заметил, что она могла бы ещё заняться своим собственным воспитанием.

— Ах, что вы! Я такая ленивая. У меня совсем нет никакого характера, ни капельки характера! И потом, где искать образования? Одни советуют одно, другие — другое. Нет, уж я лучше останусь так!

Образование моей собеседницы действительно ограничивалось одними изящными

манерами и французским языком.

— Впрочем, я читаю иногда Московские Ведомости и еще романы, только не серьезные... А вы, наверное, хотите сделаться учёным? Ах, пожалуйста, оставьте это! Это так гадко! Ведь, это почти все равно, что быть акробатом, вроде этих господ: так же не натурально и только гораздо скучнее. И потом это так вредит здоровью. Вот вы и теперь какой худой и бледный. Это жаль. Знаете что: приезжайте к нам в Крым. Вам необходимы морские купанья, это укрепляет... А как там весело! Большое общество, никто ничего не делает, и все довольны. А воздух там совсем какой-то особенный. Я четвертое лето там провожу и каждый раз влюбляюсь... Вообразите, и в меня тоже влюбляются, — прибавила она, по-видимому, искренно удивляясь этому обстоятельству.

— Вы думаете, я лгу, потому что я такая некрасивая? Право, уверяю вас, что это правда. Впрочем, там все друг в друга влюбляются. Иные женятся: каждый год чья-нибудь свадьба. А то и так... Боже мой, я все глупости говорю! Что вы обо мне подумаете!

Я поспешил заметить, что хотя любовь есть зло и обман, но что, во всяком случае, любовь незаконная гораздо извинительнее любви узаконенной. Таково было тогда моё искреннее убеждение. Меня, как крайнего пессимиста, брак, и особенно брак счастливый, возмущал до глубины души, — ведь, на нем, главным образом, держался весь этот мир, уничтожение которого было высшею целью моих стремлений.

Собеседница моя, очевидно, не понимала, что я хочу сказать.

— Горе моё в том, — сказала она, — что меня за что-то очень многие любят, а мне ужасно тяжело обижать и огорчать кого-нибудь, особенно тех, кто меня любит. Самое ужасное для меня мучение-в чем-нибудь отказывать. Вообще я хотела бы всех любить и всем делать все приятное. Но, ведь, это здесь совершенно невозможно. Здесь так гадко устроено, что все друг к другу ревнуют, завидуют, все друг другу мешают. Полюбишь одного, чтобы не огорчать его, — обижаешь этим другого. Это просто ужас! Потом -у меня муж, дети. Я решила никогда не обманывать моего мужа, — правда, он немногого от меня и требует. Но бывают такие странные люди, которые ничего не хотят понимать и требуют невозможного, точно маленькие дети... Ах, я иногда хочу умереть! Только не сейчас. Теперь мне весело. Я рада, что с вами познакомилась.

Она замолчала на минуту.

— Знаете, я иногда думаю о будущей жизни, и мне представляется, что там будет совсем наоборот: никто никому мешать не будет, и можно будет всех, всех любить, и никому это не будет обидно... Ах, я такая глупая, я не могу сказать этого как следует, но, право, я понимаю, как это будет.

Она сжала голову обеими руками и задумалась.

VI

Было уже совсем темно. В вагоне стихло. Французы утомились своею вознёй и улеглись кое-как по своим местам. Изредка раздавались бессвязные возгласы, кто-то бормотал во сне.

— Вы верно не будете спать, — вдруг сказала моя спутница.

Я кивнул головой.

— Я тоже, будемте разговаривать. Нужно только устроиться покойнее.

Она сняла шляпку и распустила волосы.

Существуют в подлунном мире предметы, которые с раннего детства оказывали на меня неотразимое действие; и в ту эпоху, которую я теперь вспоминаю, при виде этих предметов, мой пессимизм терял всю свою силу, и моя аскетическая мораль с постыдною покорностью опускала свои крылья. Распущенные по плечам длинные женские волосы всегда принадлежали к числу этих магических предметов, а таких роскошных волос, какие были теперь перед моими глазами, я еще никогда не видывал. И чем больше я на них смотрел, тем дальше и дальше уходило от моего умственного взора различие между вечною сущностью и преходящим явлением, тем ниже и ниже опускались крылья моей самоотрицающей воли.

Я взял густую прядь этих светлых душистых волос и поднес ее к своим губам.

Тихая улыбка и молчание.

Она опустила руки на колени и наклонила голову. В этой позе с распущенными волосами она была решительно хороша. Я хотел сказать ей это, сказать, что люблю её, но слова не сходили с языка. Я только наклонился к ее опущенным рукам и стал покрывать их поцелуями.

— Какой вы странный! Кто вам позволил?

Я поднял голову, шепча наивное извинение за этот порыв, и вдруг почувствовал на своих губах долгий, беззвучный, горячий поцелуй.

На следующее утро я был мрачен и угрюм. Различие добра и зла, о котором я ни разу не вспомнил в минувшую ночь, предстало теперь моему уму с полною ясностью и отчетливостью.

Стыд и позор! Я — пессимист и аскет, я — непримиримый враг земного начала-без боя, без малейшей попытки сопротивления — хуже того-с какою-то радостною готовностью и предупредительностью уступил этому земному началу, сразу признал его власть и наслаждался своим рабством. Я, чуть ли не с колыбели познавший тщету хотения, обманчивость счастья, иллюзию удовольствий, я, три года работавший над тем, чтобы

эту врождённую мне истину укрепить неприступными стенами трансцендентальной философии, — я теперь искал и мог хотя на мгновение находить блаженство в объятиях едва знакомой, но, очевидно пустой и совершенно необразованной женщины.

К чему, несчастный, я стремился!

Пред кем унизил гордый ум!

Кого восторгом чистых дум

Боготворить не устыдился!

Никогда ещё не подвергался я такому унижению. Конечно я и прежде нередко целовался с своими кузинами. Но это было совершенно другое. Во-первых, дело не в поцелуях самих по себе, а в интенсивности, а также и экстенсивности; а, во-вторых, кузины были более или менее адептками моего учения, и поцелуи я мог считать лишь внешним выражением внутренних духовных отношений. В новой же своей знакомой я решительно не усматривал никакой способности к высшему философскому пониманию. И, между тем, для неё я мог изменить своей Ольге, — Ольге, которая изнывала в разлуке со мною, которая меня так хорошо понимала и должна была пройти со мною рука об руку тяжёлый путь самоотрицания воли.

Решительно, я чувствовал себя скверно. Вероятно, что-нибудь в этом роде испытывал наш прародитель в тот печальный день, когда в замен утраченного блаженства его снабдили кожаными одеждами.

VII

Julie, —так моя спутница хотела, чтобы я называл её, — тоже была не весела. Ей нездоровилось. Кажется, она страдала сердцебиением. Она поминутно закрывала глаза и прижимала руку к сердцу. С болезненно сжатым ртом, с закрытыми глазами и с нездоровым цветом лица она становилась положительно дурною. Я злился на нее. Я обвинял ее во всем. Из-за неё, ведь, я оказался дрянью, тряпкой, изъ-за нея постыдно изменил своим принципам, из-за неё осрамился. В черта я тогда не верил. Значит, виновата Julie. Увы, и в этом отношении я вполне уподобился ветхому Адаму, который, согрешивши, оправдывался и сваливал вину на слабейшую сторону.

А она, моя бедная Ева, как только утихали ее боли, по-прежнему, ласково заговаривала со мною. Это раздражало меня ещё более. Я готов был возненавидеть её. Несмотря на свою чрезвычайную необразованность, она, очевидно, любила рассуждать о важных предметах. Теперь все, что она говорила, казалось мне или нелепым, или тривиальным.

Между прочим, она заговорила об эмансипации женщин. Я грубо перебил ее:

— Мне кажется, что наши женщины и без того слишком эмансипированы. Если им чего недостаёт, так уж, конечно, не свободы, а скорее сдержанности.

Намек был ясен. Julie едва заметно покраснела и подняла на меня свои большие глаза. Ничего, кроме грустного удивления, не было в этом взгляде. Через минуту она опять ласково заговорила со мною.

Что-то кольнуло мне в сердце. Мне стало стыдно, что я ее обидел, но я совсем не оценил той кротости, с которой она перенесла эту обиду. Я не любил её. Я заставил себя быть с нею любезным, чтобы загладить свою грубость, но эта любезность была очень холодна, и Julie замечала неискренность моих нежных заявлений. Она глядела грустно и грустно улыбалась.

В Курске нужно было менять поезд. Для Julie было уже заранее взято место в первом классе. Я взял билет второго класса. Таким образом, мы разлучились. Я притворился огорчённым, но в душе был доволен. Ее близость меня тяготила; к тому же, по мере приближения к Харькову мои обязанности относительно понимавшей меня Ольги представлялись мне все с большею и большею ясностью.

Проводивши Julie в ее купе, я с облегченным сердцем и в хорошем расположении духа уселся на своем новом месте и скоро познакомился с ближайшими соседями. Это были: студент-медик Киевского университета, молодой купец из Таганрога в драповом пальто и новом чёрном картузе и неопределенного звания и возраста брюнет с темно-синим подбородком, как оказалось, богатый ростовщик, также из Таганрога.

Я разговорился с молодым медиком. Это был провинциальный нигилист самого яркого оттенка. Он сразу признал меня за своего — «по интеллигентному выражению лица», как объяснил он впоследствии, а также, может быть, по длинным волосам и небрежному костюму.

Мы открыли друг другу всю душу. Мы были вполне согласны в том, что существующее должно быть в скорейшем времени разрушено. Но он думал, что за этим разрушением наступит земной рай, где не будет бедных, глупых и порочных, а все человечество станет равномерно наслаждаться всеми физическими и умственными благами в бесчисленных фаланстерах, которые покроют земной шар, — я же с одушевлением утверждал, что его взгляд не достаточно радикален, что на самом деле не только земля, но и вся вселенная должна быть коренным образом уничтожена, что если после этого и будет какая-нибудь жизнь, то совершенно другая жизнь, не похожая на настоящую, чисто трансцендентная. Он был радикал-натуралист, я был радикал-метафизик.

Мы говорили и спорили очень горячо и громко. Один раз собеседник попробовал было обратиться к мнению наших соседей, но ростовщик с синим подбородком только усмехнулся с сожалением и махнул рукою, а молодой купец пробормотал что-то совсем непоощрительное, вроде «озорники вы окаянные», и, повернулся к нам спиной.

В заключение спора мой противник заметил, что наши теоретические воззрения могут расходиться, но так как у нас ближайшие практические цели одни и те же, так как

мы оба «честные радикалы», то и можем быть друзьями и союзниками, и мы с чувством пожали друг другу руку.

VIII

В это время дверца вагона отворилась, и у входа показалась Julie. Она пришла пригласить меня к себе в первый класс. В ее купе свободно; там нет никого, кроме неё. Ей скучно одной. Мы можем ехать вместе до самого Харькова.

Я с готовностью принял предложение, но в душе был недоволен. В эту минуту мой новый друг и союзник интересовал меня гораздо более, чем она. «И зачем она так себя компрометирует? Как все это глупо!»- подумал я.

Утомление долгой дороги, непривычные волнения прошедшей бессонной ночи, наконец, горячий напряжённый разговор о самых отвлечённых материях, - все это вместе, должно быть, совсем расстроило мои нервы. Только что я, пройдя впереди моей дамы, хотел ступить на вторую чугунную доску между вагонами, как вдруг потерял сознание. Я очнулся на площадке своего вагона. Потом мой новый приятель, видевший нас чрез отворенную дверцу и поспешивший на помощь, рассказал мне, что я, наверное, упал бы в пространство между вагонами и непременно был бы раздавлен поездом, бывшим на всем ходу, если бы не «эта барынька», которая схватила меня за плечи и удержала на площадке.

Это я узнал потом. Тут же очнувшись, я видел только яркий солнечный свет, полосу синего неба, и в этом свете и среди этого неба склонялся надо мною образ прекрасной женщины, и она смотрела на меня чудными знакомыми глазами и шептала мне что-то тихое и нежное.

Нет сомнения, это Julie, это ее глаза, но как изменилось все остальное! Каким розовым светом горит ее лицо, как она высока и величественна! Внутри меня совершилось что-то чудесное. Как будто все моё существо со всеми мыслями, чувствами и стремлениями расплавилось и слилось в одно бесконечное сладкое, светлое и бесстрастное ощущение, и в этом ощущении, как в чистом зеркале, неподвижно отражался один чудный образ, и я чувствовал и знал, что в этом одном было все. Я любил новую, всепоглощающую и бесконечную любовью и в ней впервые ощутил всю полноту и смысл жизни.

Сначала она заботливо усадила меня на мое прежнее место. Мой приятель медик предупредительно уступил ей свою половину дивана рядом со мною. При первой остановке поезда она перевела меня к себе.

Мы были вдвоём. Я долго не мог говорить. Я только смотрел на нее безумными глазами и целовал край ее платья, целовал ее ноги. Она тоже ничего не говорила и только прикладывала мне к голове платок, намоченный одеколоном. Наконец, бессвязным отрывочным шёпотом я стал передавать ей, что делалось со мною, как я ее люблю, что она для меня все, что эта любовь меня возродила, что это совсем другая, новая любовь, в которой я совершенно забываю себя, что теперь только я понял, что есть Бог

в человеке, что есть добро и истинная радость в жизни, что ее цель не в холодном, мёртвом отрицании...

Она слушала с ясными глазами и счастливою улыбкой. Переворот, который во мнѣ совершился, ее радовал, но, по-видимому, не удивлял. Она меня ни о чем не расспрашивала. Как прежде она тихо и безмятежно перенесла мою обиду, так и теперь тихо и безмятежно переносила она моё обожание.

Когда я несколько пришел в себя, она стала говорить так просто и спокойно. Я полюбился ей с первого взгляда, и она счастлива, что я люблю ее теперь такую хорошею любовью. Она уверена, что между нами могут быть настоящие хорошие отношения. Мы должны встретиться в Москве. Она познакомит меня с своим мужем.

— А в Крым вы лучше не ездите. Я такая бесхарактерная. Там мне будет страшно и за себя, и за вас.

Я сказал, что буду делать все, что она желает.

Мы не замечали, как кончился день, как прошёл вечер, и наступил час разлуки. На Харьковском вокзале я оставался с нею до последнего звонка. В минуту отхода поезда она высунулась в окно и протянула мне обе руки. Ночь была темна, никто не обращал на нас внимания. Разве какая-нибудь сентиментальная звёздочка пожалела обо мне, заметив сверху, как обильные горячие слезы текли из моих глаз на эти милые нежные руки.

Поезд давно уже скрылся из вида, а я все стоял на том же месте

IX

— Что ж это вы, батенька, солёною водицей умылись, да в соляной столб превратились? Ну, не горюйте, не на веки расстались, ещё увидите. А вкус одобряю: симпатичнейшая бабёнка, черт возьми! В другую пору и сам бы втюрился. Ну, идёте, синьор!

Я молча последовал за честным радикалом, и мы наняли извозчика в гостиницу «Dagmar».

Моя душа была полна Julie до тех пор, пока я не заснул; на другой день вся моя встреча представлялась мне как что-то совершенно фантастичное и ужасно далёкое. Что-то было мною пережито, где-то в самом глубоком уголке моей души я чувствовал что-то новое, небывалое; но оно ещё не слилось с моею настоящею жизнью. Я знал, что все прежнее ещё должно продолжаться и идти своим чередом, как будто совсем ничего не случилось. Да и что такое случилось в самом деле? Субъективная экзальтация и больше ничего!

Я поехал к Ольге. Разумеется, наше свидание произошло вовсе не так, как я себе представлял. Начать с того, что я не застал ее дома, что почему-то вовсе не входило

в мои предположения. Я уехал, оставив записку. Таким образом, когда я приехал вторично, она уже была предупреждена о моем прибытии — для обморока и других чрезвычайных явлений не было достаточного основания. Она только что вернулась с загородной прогулки. Я нашел в ней большую перемену. Она была вовсе не похожа на ту нежную, полувоздушную девочку, которая осталась в моей памяти от нашего последнего свидания в деревне, когда она выходила из купальни в голубом ситцевом платье и с небрежно закинутою за спину тёмною косой. Теперь это была совсем взрослая и нарядная девица с развязными манерами. Она так смело и пристально смотрела на меня своими чёрными, немного покрасневшими от солнца и ветра глазами, в ней было что-то решительное и самостоятельное.

После первых кратких расспросов о родных, о здоровье и т. п., я приступил к делу. В своих письмах она писала, что любить меня, — я должен был объяснить ей свой взгляд на наши отношения. Я говорил кратко и неубедительно. Я сам чувствовал, что повторяю какой-то заученный урок; каждое слово раздавалось в моих ушах как что-то чужое и совершенно не интересное. Правду сказать, это были вполне деревянные слова.

Она слушала с задумчивым видом, облокотясь на стол. Когда я кончил свою речь неизбежным приглашением идти со мною вместе по пути самоотрицания воли, она ещё долго смотрела вдаль неподвижными глазами, потом вдруг опустила руку, подняла голову и, остановив на мне пристальный взгляд, произнесла спокойным и твердым голосом.

— Я не хочу тебя обманывать. Я ошиблась в своем чувстве. Ты слишком умен и идеален для меня, и я недостаточно тебя люблю, чтобы разделять твои взгляды и навсегда связать свою жизнь с твоею. Вот ты отвергаешь всякое удовольствие, а я одни только удовольствия и понимаю. Я буду всегда любить тебя, как родного. Будем друзьями.

Спешу заметить, что это был мой последний опыт обращения молодых девиц на путь самоотрицания воли. В тот же вечер я уехал из Харькова, даже не простившись с новым своим приятелем-радикалом.

Четыре года после того я встретился с Julie в Италии, на Ривьере, но эта была такая встреча, о которой можно рассказывать только любителям в ночь под Рождество.

Article printed from smartfiction: <http://smartfiction.ru>

URL to article: http://smartfiction.ru/prose/beginning_of_foggy_youth_/

<http://smartfiction.ru> — качественная литература по будням. Коротко.